

Патриция Деотто

Мемуарно-автобиографический дискурс в дневниковых записях Ольги Берггольц

Ol'ga Berggol'ts's Memorial and Autobiographical Discourse in Her Diary Entries on the Siege of Leningrad

Ol'ga Berggol'ts's diary, written between July 1939 and the years of the war and the siege, is not only an extraordinary testimony of a tragic moment in the history of Leningrad, but also an interesting exposure – through the use of the written word – of the most secret and unspeakable thoughts on the present and the recent past in the light of the writer's personal experiences. The author is intimately divided between the need to tell the truth about herself and the surrounding world, and the sentiment of disquiet resulting from the pressure of the official censorship and a sort of self-censorship stemming from the fear to write about her own emotions and thoughts. The act of writing implies going once again through the pain and the sorrow that may be triggered in the process and admitting to herself a deep disenchantment with what she had believed in. Despite all of this, however, Ol'ga Berggol'ts embarks on a difficult path towards awareness, on the quest of an individual truth, which is in contrast with the official truth of the regime.

Ольга Берггольц вела дневники почти пятьдесят лет¹, записывая события повседневной жизни, свои размышления и суждения о политическом и культурном положении в Советском Союзе. Эта тема была особенно дорога Берггольц; в

записи от 8 марта 1925 года, когда она была еще совсем молоденькой, Берггольц заявила: “Всю жизнь отдам Комсомолу...” (Берггольц 2016: 169), снискав себе этим репутацию “яростной комсомолки” (Щеглова 2008: 76). С середины тридцатых годов, когда ее близкие друзья были арестованы как *враги народа*, и в особенности после тяжелых месяцев тюрьмы, она стала задумываться над произволом

¹ Кроме 72 тетрадей дневников за период (1923–1971), сохранились дневниковые записи (1929–1971) и записные книжки – 99 тетрадей (1927–1975) см. Горяева 2015: 456.

советского правительства по отношению к своим гражданам.

Она не готова больше оправдывать преступления власти высокой целью и старается понять, почему же великая мечта потерпела крах. Ей предстоит мучительный путь до самого конца жизни, который приведет ее к убеждению о невозможности искоренить из советского общества произвол и ложь, разрушившие великие идеалы ее молодости. 20 июня 1960 года Берггольц пишет: “После разрыва с Юрой [...] и общая идея исчезает окончательно, суррогатов для нее нет и не может быть. Человеческое и женское одиночество беспросветно” (см. Горяева 2015: 473).

В дневнике, который Ольга Берггольц вела после освобождения из тюрьмы, с июля 1939 года², и в годы войны и блокады, являющемся предметом анализа этой статьи, присутствуют две присущие дневниковому жанру черты: с одной стороны, это хронологически последовательная запись будней самого трагического момента ленинградской истории, сделанная их непо-

средственным свидетелем, с другой, это рефлексия автора дневника над собственными внутренними изменениями через их описание, то есть “уяснение внутреннего состояния пишущего, уяснение, которого без записи не происходит” (Лотман 2000: 164).

В статье я буду рассматривать эту вторую характерную особенность дневника, пытаюсь определить, в каком направлении движется процесс самопознания Ольги Берггольц, и показать, как, обращаясь к потенциальному косвенному адресату, поэтесса преодолевает личное измерение саморефлексии и превращает свой дневник в общедоступное свидетельство.

Среди проблем анализа дневниковой прозы, в последнее время привлекавших внимание исследователей, одной из самых интересных стала проблема адресата. Хотя на первый взгляд дневник пишется как текст для себя, не имеющий адресата, на самом деле он строится в форме диалога и предполагает наличие читателя. В дневниковых записях речь обращена к кому-то, и прежде всего, к адресату, который одновременно является и автором дневника. Одним из первых проблему адресата исследовал женеvский ученый

² Ольга Берггольц была арестована 13 декабря 1938 года и освобождена 3 июля 1939 года.

Жан Руссе. Он создал таблицу возможных адресатов, ранжированных в порядке значимости от читателя отсутствующего, виртуального или исключенного до читателя непрошенного, терпимого, допустимого или желаемого (Rouset 1983).

Берггольц в первую очередь предпочитает диалог с самой собой и развивает главным образом две темы: свои политические убеждения и личную жизнь, чувства.

Записи поэтессы после 3 июля 1939 года, когда она была освобождена из тюрьмы, проникнуты чувством крайней подавленности. Шесть месяцев заключения настолько потрясли ее, что ее преследует мучительное ощущение, будто она по-прежнему заперта в камере.

Кошмар ареста и допросов возвращается в мучительных снах, страшные воспоминания стоят между поэтессой и жизнью, отзываются в стихах, в отношениях с людьми, в будничных делах (5/X/1939³, Берггольц 2017: 556). Она вопрошает самоё себя, пытаясь найти логическое объяснение событию, которое лишено логики:

³ В Ольга. *Запретный дневник*. Санкт-Петербург, Издательская группа "Азбука-классика", 2010, с. 30 указанная датировка неправильна: 15/10/1939.

“Да, но зачем все-таки подвергали меня все той же муке?! Зачем были те дикие, полубредовые желто-красные ночи (желтый свет лампочек, красные матрасы, стук в отопительных трубах, голуби...). И это безмерное, безграничное, дикое человеческое страдание, в котором тонуло мое страдание, расширяясь до безумия, до раздавленности?..” (14/XII/1939, Берггольц 2017: 568).

Тюрьма – это не только физическая реальность, но и метафора состояния души поэтессы, которая чувствует, что оказалась в положении, из которого нет выхода. Арест привел к кризису сознания, который подорвал ее убеждения, ее несокрушимую веру в партию и в политические идеи, победившие благодаря революции: “[...] все было уложено в стройную систему, а теперь все перебуровлено, многое поменялось местами, многое перегублено...” (14/XII/1939, Берггольц 2017: 568).

Три записи, сделанные между ноябрем и декабрем 1939 года, – первые в этом болезненном процессе самопознания, который характерен для дневникового письма Берггольц в годы блокады. Верность “великому делу Ленина”, которому она с горячностью присягает в за-

писи от 6 ноября 1939 года, находит подтверждение в записи от 14 декабря. В ней поэтесса радуется тому, что ее кандидатуру будут вновь утверждать в парткоме, и хочет, невзирая ни на что, по этому случаю подтвердить, что ее «отношение к нашим идеям, нашей родине и партии осталось неизменным» (Берггольц 2017: 569).

Однако она понимает, что не сможет ни открыто поделиться с товарищами по партии мучительными вопросами, родившимися в ее душе после тюремного заключения, ни раскрыть их содержание в романе, который она планировала посвятить своему поколению (ведь это привело бы к трагическим для нее последствиям), и это подрывает ее внутреннее равновесие, уже нарушенное несколькими месяцами тюрьмы. 25 декабря 1939 Ольга Берггольц нерешительно записывает, что она еще в тюрьме начала подозревать, что Сталин является подлинным виновником трагедии, происходящей в Советском Союзе в последние годы, но что не стала делиться сомнениями с сокамерницами, чтобы не лишать их надежды. В этих трех записях можно выделить тесно связанные друг с другом мотивы, кото-

рые в отрывочном и фрагментарном дневниковом письме становятся элементом субъективного и литературного единства: это ослабление веры в правое дело, давление вседушной цензуры и ложь, которая в большей или меньшей степени искажает жизнь каждого.

Поэтессе трудно отречься от идеалов, озарявших ее жизнь до момента заключения, и она решает продолжать служить делу партии, но это решение дается ей с трудом. Это решение принято в результате самовнушения, которое Берггольц в одной из записей (14/XII/1939) раскладывает на два голоса, превращая в драматический диалог. Она призывает себя остановить лирические излияния по поводу боли и оставить бесполезные сомнения, ведь они противоречат верности программе Партии и добросовестному исполнению ее заданий.

Тем не менее, в этой записи она дает понять, что подобная решимость не отражает обретенного единогласия с партией, а становится способом заглушить моральные страдания.

Дневниковых записей, относящихся к 1940 году немного, но весной 1941 года Ольга Берггольц начинает снова ре-

гулярно вести свой дневник, в котором зачастую встречаются полные трагизма записи, свидетельствующие о глубокой внутренней муке, причиняемой как переосмыслением идеалов молодости, так и тревогой из-за начала войны и томительным ожиданием гибели, кошмарной атмосферой, нависшей над жителями блокадного Ленинграда, превратившегося в город-морг, где люди умирают с голоду прямо на улицах и трупы лежат среди сугробов, а также прогрессирующей болезнью мужа, Николая Молчанова⁴, к которому у нее навсегда останется глубокая привязанность.

Горестные записи чередуются с заметками, полными жизненной энергии, в которых видна потребность в личном счастье и новой близости⁵. Эту потребность обостряет влюбленность в Юрия Макогоненко и мысль о том, что жизнь может оборваться в любую минуту. Ольга Берггольц подкрашивает брови и губы, же-

⁴ Николай Степанович Молчанов (1909-1942) – второй муж Ольги Берггольц. Он умер 29 января 1942 года от дистрофии в психиатрической больнице.

⁵ В конце сентября 1941 года Ольга Берггольц все больше сближается со своим коллегой по Радиокомитету Г.П. Макогоненко (1912–1986) и в апреле 1942 становится его женой.

лая снова стать привлекательной. Хотя 26 декабря она пишет о муже: “Ведь он у меня главный, самый любимый, и я всем сердцем верна ему, не смотря на Юрку” (26/XII/1941, Берггольц 2015: 106), но пробуждает в ней желание жить и отвлекает от мрачных мыслей страсть к Юре: “Странно, что не ощущаю никакой личной путаницы, и Юра и Коля совмещаются. С Юрой – некий отдых, с Колей все тяготы – двойные для меня – его болезни и страшной войны...” (26/XII/1941, Берггольц 2015: 106).

Поначалу она словно бы испытывает чувство вины за фривольные мысли, которые она позволяет себе в тяжелые дни блокады. Мысли ее проистекают из внутреннего диалога с потенциальным читателем, который помогает ей уяснить и мотивировать свое поведение. Она обращается к будущему читателю как создавая прямой виртуальный диалог с чужим словом, так и усваивая и присваивая чужое слово для того, чтобы построить свой дискурс⁶: “*Будущий читатель* моих дневников почувствует в этом месте пре-

⁶ О проблеме внутренней адресованности дневника и ориентации на чужое слово см. Савкина 2019.

зрение: 'Героическая оборона Ленинграда, а она думает и пишет о том, скоро или нескоро человек признается в любви или в чем-то в этом роде' (Хуже всего, если я смотрю выжидающими глазами) Да, да, да! Неужели и ты *потомок*, будешь так несчастен, что будешь считать, будто бы для человека есть что-то важнее любви, игры, чувств желаний друг друга?" [курсив мой - П. Д.] (22/IX/1941, Берггольц 2015: 34-35).

Ольга Берггольц, подчеркивая стереотипный образ женщины, увлеченной чувством страстной любви, и задавая ряд вопросов, вызывающих сомнения в обоснованности высказываний потенциального собеседника, лишает авторитетности тон упрека чужого слова. Она отстаивает свое желание любить, видит в нем ту преданность жизни, которую ленинградцы защищали из последних сил, а она воспевала в своих стихах: "А может быть, это действительно свинство, что я в такие страшные, трагические дни, вероятно, накануне взятия Ленинграда, думаю о красивом мужике и интрижке с ним? Но ради чего же мы тогда обороняемся? Ради жизни же. А я живу! [...] Да что и перед тем тут оправдываться? Я делаю все, что в си-

лах, и, невзирая на ломающую меня болезнь, на падающие бомбы и снаряды, пишу стихи, от которых люди в бомбоубежищах плачут" (22/IX/1941, Берггольц 2015: 35).

Обращение к косвенному адресату⁷, к потенциальному будущему читателю заставляет Берггольц, с одной стороны, анализировать себя и свои мысли, постоянно оглядываясь на "некоего незримого контролера" в процессе письма⁸, а с другой стороны, идентифицируя будущего читателя с потенциальным *потомком*, позволяет ей облечь дневник в функцию, превращающую личное измерение саморефлексии в общедоступное достояние.

В книге *Stories of the Soviet Experience* Ирина Паперно обращает внимание на тесную связь между интимными переживаниями и историей, характерную для дневников разных авторов советской эпохи, и говорит о советской истории как о силе, которая исказила частную жизнь и са-

⁷ О подробном анализе фигуры косвенного адресата как потенциальный участник коммуникативного акта, реализуемого в дневнике см. Зализняк 2010.

⁸ О проявлении адресованности в наличие "некоего незримого контролера" см. Савкина 2009: 154.

мих людей (см. Рарерно 2009: 24).

Эта черта бросается в глаза и в дневнике Ольги Берггольц. Держась всеми силами за жизнь, она все-таки не может смягчить боль от потери самых дорогих людей: мужа и дочери. Болезнь мужа и смерть дочери Ирины⁹ сломили ее дух. В экзистенциальном опыте потеря дочери ассоциируется с другим тяжелым испытанием, постигшим ее в месяцы заключения и переживаемом поэтессой как *вторая смерть*, как мучительная агония из-за утраты веры в советскую власть и, главное, веры в ее идеологию.

Две записи, сделанные в марте 1941 года с интервалом в два дня, наглядно показывают, как тесно переплетены ее политическая и личная жизнь. Ольга Берггольц называет себя *лишенцем*, то есть человеком, который лишился того, что было ему дороже всего, как в личном, так и в идеологическом плане. Все, что было у нее в 1931 году и составляло ее

⁹ Ирина Борисовна Корнилова (1928–1936) – дочь Ольги Берггольц от первого мужа Бориса Петровича Корнилова. Она два года болела эндокардитом и умерла 14 марта 1936 года, когда ей было 8 лет. Ольга Берггольц часто с горестью вспоминает о дочери.

счастье, исчезло: “Сколько силы было, веры, бесстрашия. Была Ирка, был здоровый Коля, было ощущение неисчерпанности, бесконечности жизни, была нерушимая убежденность в деле, в правильности всего, что делал... Где же, где все?” (23/III/1941, Берггольц 2017: 612).

Берггольц пытается стряхнуть с себя мрак, который туманит сознание, ругает себя за то, что ей недостает мужества восстановить свой внутренний мир, но понимает, что на самом деле возрождению, основанному на подлинных идеалах, опирающихся на принципы гуманизма, препятствует всепроникающий туман лжи, который царит в их жизни, и которую не стесняются “называть социализмом!” (26/III/1941, Берггольц 2017: 613).

Через три месяца после начала войны Ольга Берггольц, в растерянности от поражений, понесенных советскими войсками на Украине, размышляет о причинах этого позора и готова приписать их привычке советского человека, приобретенной еще задолго до войны, жить не подлинной жизнью: “Мы все последние годы занимались больше всего тем, что соблюдали видимость” (22/IX/1941, Берггольц 2015: 32). И это привело к тому, что лю-

ди “перестали верить, узнали, что им не за что бороться” (22/IX/1941, Берггольц 2015: 32). В дневнике Берггольц не раз возвращается к конкретным и психологическим последствиям лжи - последствиям в ее жизни, в жизни страны и, в частности, в жизни ленинградцев. В ее личной жизни ложь — это насилие над творческой свободой поэта, тесного тяжкой цензурой, которой она упорно сопротивляется, стараясь “работать одной, писать честно, не боясь обнажать боли, упоения, не боясь заглядывать в темноту, в колодцы, а там будь что будет...” (29/X/1939, Берггольц 2017: 564).

На общепринятом уровне ложь проявляется в описании действительности стандартными фразами, никак не соответствующими настоящей жизни жителей блокадного Ленинграда, подвергнутых невообразимым страданиям.

Анализируя всепроникающую ложь, Ольга Берггольц обнаруживает еще более коварный аспект, касающийся ее лично. Несмотря на то, что она пишет стихи и статьи, которые должны поднимать дух сограждан, добросовестно и от души, она в то же время опасается, что на фоне замалчивания и лицемерия начальства

она сама становится соучастницей лжи (13/IX/1941), разверзающей бездну между подлинной жизнью и ее официальной версией (22/IX/1941).

Просьба написать для Европы об обороне Ленинграда доводит ее до отчаяния, она отдает себе отчет в том, как трудно сказать правдивое слово о положении города (24/IX/1941). Официальным прокламациям о героизме Ленинграда ей хотелось бы противопоставить описание страшных условий жизни жителей города, приводя в пример положение Анны Ахматовой, “музы Плача, гордости русской поэзии”, которая живет в темном подвале, больная, испуганная и голодная, и закончить очерк, прося Запад о помощи.

Несмотря на трудности, Берггольц сдерживает обещание писать честно. И если в очерке для Европы она старается вынуть “из души что-либо близкое к правде” (24/IX/1941, Берггольц 2015: 39), в поэме *Февральский дневник*¹⁰, написанном в январе-феврале 1942 года, опубликованном в «Комсомольской правде» от 5 июля “полностью, без единой по-

¹⁰ “Ольга начала писать поэму *Февральский дневник* как памятник умершему мужу и всем, кто погиб той страшной зимой 1941–1942 года” (Громова 2017: 109).

правки и купюры” (9/VII/1942, Берггольц 2015: 244) и прочитанном по радио 21 июля, ей удается дать живое свидетельство первой ужасной зимы блокады. Благодаря своей искренности, она получила широкое и трогательное признание, не от Союза писателей, не от начальства, а от читателей, от того народа, во имя которого в молодости задумали “мечту о настоящем Социализме, о лучшей, светлой нашей жизни” (29/XI/1941, Берггольц 2015: 63).

Размышляя о лжи, из-за которой все больше “росла пропасть между народом и государством” (22/IX/1941, Берггольц 2015: 33), и о попорченных идеалах молодости, Берггольц ощущает потребность свериться с теми, кто, как и она, поверил обещаниям о строительстве иной, более справедливой жизни. В отчаянии она обращается к своему поколению и вступает с ним в диалог, обращаясь к коллективному *мы* и надеясь понять, почему великая мечта превратилась в тотальный кошмар: “Где, когда, почему мы выскочили из колеи?” (23/XII/1939 Берггольц 2017: 571).

Задуманный до ареста проект романа о поколении, к которому она принадлежит, представляется ей неосуществи-

мым¹¹. Ведь рассказ об их молодом энтузиазме и о радостном пути, уже пройденном во имя идеалов (14/XII/1939) потребовал бы обратиться и к вопросам, которые возникли уже после ужасов, пережитых ею и многими ее товарищами. Для Ольги Берггольц, как она неоднократно упоминает в дневнике, олицетворением пережитого опыта становится тюрьма. Умолчать о столь важном событии значило бы отречься от правдивого рассказа о морально уничтоженном поколении. Однако правдивому рассказу мешает вездесущая цензура, которая заставляет поэтессу сдерживать себя даже в интимном пространстве дневниковых записей. В этом состоянии бессилия и помутнения рассудка Ольга Берггольц, читая Герцена, завидует широте взглядов и свободе мысли, которыми дышат воспоминания великого мыслителя.

¹¹ И так и останется неосуществимым. По этому поводу Громова пишет: “Главная книга рассыпается, не складывается. Должно быть, не было сквозного стржня, как в первой части” (Громова 2017: 192). Имеется в виду повесть *Дневные звезды*, которые Ольга Берггольц считала своего рода прологом к *Главной книге*. Повесть была опубликована в 1959 и имела оглушительный успех (см. Громова 2017: 181).

Почти два года спустя, 17/IX/1941, Берггольц говорит, что в деградации идеалов ее поколения виновата беспредельная вера в теорию, реализация которой на практике породила множество невинных жертв. Эта мысль вызвана реакцией на семейную драму, потрясшую поэтессу до глубины души: она не может смириться с высылкой отца, ставшего жертвой чьего-то самоуправства, из его родного Ленинграда: “Мне мучительно стыдно глядеть на отца. За что, за что его так? Это мы, мы во всем виноваты” (2/IX/1941, Берггольц 2015: 24). Она упрекает себя и свое поколение в том, что они молчали, видя, как расходятся теория и навязанная партией практика, и тем самым поддерживали атмосферу лжи. Виртуальный диалог, который поэтесса ведет со своим поколением, свидетельствует о желании преодолеть рамки дискурса, предназначенного

только для самой себя. Справедливо утверждение, что Берггольц поверяет дневнику непосредственные впечатления, живые чувства, гнев против властей, которые скрывают правду об ужасах блокады, но при этом она придает своим записям вес свидетельства. И хотя она прячет дневники во дворе, боясь, что их изымут, чтобы “сшить” ей новое дело, на самом деле она надеется, что настанет день, когда всплывет правда о жизни, проникнутой в те дни удушающей ложью. И главными адресатами этого свидетельства она считает своих современников, как и она, “изолгавшихся и безмерно честных, жаждущих жизни, обожающих ее, служивших ей — и все еще надеющихся на то, что ее можно будет благоустроить...” (17/IX/1941, Берггольц 2015: 31-32).

Библиография

Берггольц 2015: О. Берггольц, *Блокадный дневник*, Санкт-Петербург, Вита Нова, 2015.

Берггольц 2016: О. Берггольц, *Мой дневник 1923–1929*, Москва, Кучково поле, 2016.

Берггольц 2017: О. Берггольц, *Мой дневник 1930–1941*, Москва, Кучково поле, 2017.

Горяева 2015: Т. Горяева, *Дневник как жанр документальной исповеди* // О. Берггольц, *Блокадный дневник*, Санкт-Петербург, Вита Нова, 2015, с. 449–478.

Громова 2017: Н. Громова, *Ольга Берггольц. Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы*, Москва, Аст, 2017.

Зализняк 2010: А. Зализняк, *Дневник: к определению жанра*, «Новое литературное обозрение», 2010, 6 (106), с. 162–180.

Лотман 2000: Ю. Лотман, *Внутри мыслящих миров* // Ю. Лотман, *Семиосфера*. Санкт-Петербург, Искусство, 2000, с. 150–389.

Савкина 2009: И. Савкина, *Дневник советской девушки (1968–1970): приватное и идеологическое*, «Cahiers du Monde russe», 2009, 50/1, с. 153–167.

Савкина 2019: И. Савкина, *Я, ТЫ, МЫ: о некоторых формах адресованности в дневниках обычных советских людей*, «Автобиография», 2019, 8, с. 149–175.

Щеглова 2008: Е. Щеглова, *Они молчат – свидетели беды...* // «Вопросы литературы», 2008, 2, с. 68–78.

Paperno 2009: Paperno, Irina. 2009. *Stories of the Soviet Experience. Memoirs, Diaries, Dreams*, (Ithaca: Cornell University Press, 2009).

Rousset 1983: Rousset, Jean. 1983. 'Le journal intime, texte sans destinataire?', *Poétique*, 56: 435–443.

